Приложение к № 229 газеты «Великолукская правда»

# Творчество Владимира Винка

**В июле этого года великолучанину, журналисту, старейшему сотруднику нашей газеты, который трудился в ней многие годы, прозаику, члену Союза писателей России Владимиру Ивановичу Винку исполнилось 90 лет, а в сентябре его не стало... В память о Владимире Винке публикуем его стихи и рассказы.**

## Мы – скобари!

В семействе славных россиян
Где-то там давным-далече
У псковичей, у скобарян
Было даже свое Вече.

Псковичи хлеба растили,
Снетками славились везде,
Леса разные рубили
И сплавляли по воде.

Край не считался золотым
(Хотя б по одному из злат),
Но на Руси слыл он знатным
И был умельцами богат.

Ведь недаром Пётр Великий,
Умнейший царь из всех царей,
Когда-то у реки Великой
Хвалил псковских скобарей.

И с тех пор сей титул славный
За нами ходит – хоть умри!
(Не презренный иль забавный),
И мы горды, что скобари.

## Осенью

Мечту строптивую лелея,
Иду в осенние леса,
Где то краснея, то желтея,
На листьях нежится краса.

Где грусть чиста и благородна,
Где свободно дышит грудь,
Где небо сине и бездонно
И рифма стелет себе путь.

И где милее пестрых тряпок
Листва раскинулась ковром,
И стаи резвых куропаток
На фоне вьются золотом...

Хочу постичь всю эту прелесть,
Чтоб веселее было жить,
Чтоб про хмельную леса свежесть
Стихи новые сложить.

* * *

Мне хочется поющей лирики – такой,
Чтобы, солнце и цветы смешав,
Даже в крохотном мирике
Веселья было на весь шар.
Мне хочется солнце и цветы
В росе серебряной искупать,
Мне хочется, чтобы Я и Ты
Умели друг друга понимать.

Июль. 1961 г.

## Стихи и роза

В моих руках –
Стихи любимого поэта.
В них есть и солнце, и гроза –
Все чудо-лето.
А за окном в саду,
За нашей старой рамою,
Живое, наяву
Я вижу то же самое.
Есть там и недотрога –
Капризница усталая –
Среди жасминов белых
Благоухает роза алая.
Вот день проходит,
Вслед другой,
Я все стихи твержу.
А за окном, увы!
Красоты той не нахожу.
С землей смешались лепестки,
Шипы воинственно торчат...
А стихи? А стихи в душе
И по сей день звучат.

Написано в 14 лет

## Советская Третья

Мечты ворота растворив,
В давно желаемый полет,
Вниманье всех приворожив,
Ракета Третья старт берет.

Вверх летит не ради шутки,
А с программою живой,
Из автонаучной будки
На Землю шлет свой позывной.

Велик космический простор,
А ракета все летает,
В пути дельный разговор
С Землею Третья начинает:

– Эй, коллеги капитала!
Прошу, пожалуйста, ко мне.
Скучновато что-то стало
Летать в выси наедине.

Дружно мы наперегонки
Помчимся Космос изучать,
А вооруженья гонки
Прекратим, им не бывать!

* * *

Еще утрами ранними
Заря холодна и красна.
Хотя восток окрашен пламенем
Кузнечного горна.

Но в полдень слезы чистые
Льют сосульки, как в апрель,
А куры голосистые
Уж ловят с крыш капель.

В полдень все проснулося,
Оставив царство сна...
Ужель, ужель вернулася
Из дальних стран весна?

Март. 1960 г.

## Счастливый день

Я сегодня вправе солнце пить,
Весну переживать.
Я сегодня вправе
Строки эти написать.

Улыбается Светило,
Пышет, греет
От всей души.
И я улыбаюсь,
Даже мило,
Очень уж минуты
Эти хороши.

Шаг чеканю с легкостью,
Поступь,
Как никогда, тверда.
Я делюсь с вами новостью:
Я сегодня испытал
Радость
Рабочего труда.

Руки грузом
Дефицитнейшим несу.
Руки черные –
В мазуте.
Глаз ласкает их красу,
И
Мозоль,
Похожую
На шарик ртути.

Май. 1960 г.

* * *

Глаза - две вишенки,
Две черно-спелые...
А губы робкие -
Под цвет зари.

Стройна, как линия,
Чиста, как лилия...
Еще туманною
Живет мечтой.

Уже не девочка,
Еще не девушка,
И мир весь кажется
Вопросом ей.

Июнь. 1961 г.

* * *

Усыпав кудри инеем,
Подкрасив белый нос,
Набросив шубу зимнюю,
Шагает Дед Мороз.
Не спится деду старому,
Во всю трудится мочь –
Ведь кудеснику бывалому
Дана теперь лишь ночь.

Колдует он над лужицей.
Ворожит над окном,
Захочет – и закружатся
Снега в часу ночном.

Оденет шубу белую
На лес давно нагой
Иль ночку, ночку целую
Любуется луной.

Но все его старания
Напрасны уж теперь:
Все ближе вод журчание –
Весна стучится в дверь.

Март. 1960 г.

* * *

Под вечер в темном сарае,
Где стужа лихая была.
Крольчиха, силенки измаяв,
Крольчат семерых родила.

Крольчата родились слепые,
Их в кучу сложила она.
Крольчиха родила впервые,
Спасала крольчат как могла.

Грела их голеньким брюхом,
К ним прижимаясь плотней,
Сидела все с поднятым ухом.
Сердилась порой на курей.

Февраль. 1960 г.

## Босиком по радуге

В дыму жасминовом купаясь,
Вдыхая воздух гроз,
Красою осени пленяясь,
Я средь природы рос.

Я слушал песни вьюги,
Смотрел галчонку в рот,
У жабы и гадюки
Искал изысканных красот.

Во снах фантазией крещенный,
Ходил по радуге босой...
Все терпел – был закаленный
Холодной утренней росой.

Март. 1960 г.

* * *

Луна коровой дикой
По небу чистому бредет,
Бредет сонно, туполико,
Без желанья и забот.

И мое в ночи вниманье
Спит: я нем и глух,
Лишь какое-то мычанье
Потревожит вяло слух.

А луна уже качается
Над головою высоко,
В меня ее свет вливается,
Как парное молоко.

Сентябрь. 1961 г.

## Апрельская ночь

Кусок луны холодной
Плывет невесть куда.
Кот черный, кот голодный
Мышь ловит у пруда.

Недвижимы сирени,
Недвижим тонкий клен...
Все в тягостном томленье,
Все ждут иных времен.

И вдруг шалун-ветришко,
Шутник и зубоскал,
В коротеньких штанишках
По саду пробежал.

Обдал теплом весенним,
Спел песню, обласкал,
Поздравил с пробужденьем
И дальше пяткой замелькал.

А в небе звезды ясные
Висят. Висят в саду.
И почки нежно-красные
В предродовом бреду.

Апрель. 1960 г.

* * *

В минуты грусти и печали,
В минуты радости хмельной
Не улетай в чужие дали,
Побудь, Поэзия, со мной.

Дай, Богиня, разрешенье
В храм волшебный твой войти,
Хоть на одно, одно мгновенье
В свои тайны посвяти.

Я отплачу тебе за это
Горстью звезд со дна реки,
Слезами юного поэта
Иль лаской дрогнувшей руки.

Сентябрь. 1961 г.

## Новый спутник

Еще один,
Но с новым именем,
Взлетел
И на орбиту лег.
И стало ближе
Небо синее
И сам космический порог.

И теперь
Мечта вековая
Улыбку шлет уж нам –
Знать, будет скоро
Время новое
Свой счет вести
Космическим годам.

И нет
Ни капельки сомнения,
Что откроет Новый век
Улыбкой дерзновения
Его Величество
Советский человек.

Май. 1960 г.

## Ночь в мартовском лесу

Толпятся тени, лезут страхи.
Мрак все гуще, гуще лес.
В тонкой кружевной рубахе
Мне звезда мигнет с небес.

Хрустнет сук. И тишь ночная
Робкой птицей взмоет ввысь.
Там сова ворчит, скучая,
Там крадется злая рысь.

Вдруг слышу шорох где-то рядом,
Нос щекочет теплый пар.
Темень режу острым взглядом...
Ба! Природы чудный дар –

Подснежник хрупкий, слабый
Хочет первым сделать след:
Ищет, шарит как бы, как бы
Ему выбраться на свет.

А вон зайчонок мягкой лапкой
Гладит мордочку свою...
Дремлет лес. А я украдкой
Ловлю звуки и пою.

Март. 1960 г.

* * *

Возьмешь журнал или газету,
Прочтешь ли сказку или быль –
Везде одно, везде про это:
Про космическую пыль.

Стихи давно из рамок лезут,
Строкою брезгуют простой –
Их тоже тянет в эту бездну,
Надоел и им земной покой.

Певцы поют о марсианках,
Старухи бредят: на Луну им как бы.
И лишь я с рассвета, спозаранку
Любуюсь лилией и жабой.

Июль. 1961 г.

**Басня**

## Про главных забыли

Животный мир одного леса
Решил собраться на совет.
Но прежде думу думал комитет.
– Вопрос один пред нами встал, –
Сказал Медведь – предкомитета, –
Наметить мы должны состав
Президиума для совета.
И тут начали намечать.
В президиум попали: Лев и Львица,
Осел, Медведь, Енот,
Волк, Барсук, Тигрица
И с тучным брюхом Бегемот.
То были: Нач. и важный ИО,
Усатый Пом., угрюмый Зав.,
Главбух и сонный Врио,
И ничтожество Гав–гав.

Туда попали все и вся,
Но забыли
Про Пчелу и Муравья.

1961 г.

## Сложное время

Наше время – чудесное время!
Такого не видывал свет:
В стихах воспевают цветочное семя
И двигатель мощный ракет.

Мы слово «Земля» произносим свободно,
Свободно и «Космос» читаем теперь:
Ведь только сейчас стало возможно
Открыть в невесомость весомую дверь...

Днем я увидел милые очи
И губы волною, что нравятся мне...
Сложное время, тревожные ночи:
Во сне я сгорал в хиросимском огне.

Сентябрь. 1961 г.

## Осина

То не тайна: у людей
Сложилось мнение такое,
Что осина всех бедней
Красками своего покрова.

И древесиною гнила,
И лист ее такой пугливый...
А осина уж как мила
Порой осенней, недождливой.

Не она ль ласкает взор,
Когда краса березы вянет,
И украшает псковский бор,
Пожаром красок к себе манит.

Не она ль напомнит нам
Изгибы радуги и зори,
И делит щедро пополам
С нами радости и горе.

Сентябрь. 1961 г.

## Осень

Осень-модница капризная:
Утром солнышком блеснет,
В обед тучкой-бровью поведет
И долго нудно слезы льет.

Попечалится о ком-то,
Потом платочком ветряным,
Утерев слезинки быстро,
Дарит взглядом уж иным.

И ласкает, умиляет,
Выставляя напоказ,
Свои чудные румяна:
Полюбуйтесь, мол, на нас.

Ну а ночью – за работу!
Убрав повыше рукава,
Вяжет ловко водяные
Под цвет тумана кружева.

Сентябрь. 1961 г.

## * * *

Я лилию обожествляю,
На колени стану перед ней.
Всех мерзавцев проклинаю
Мильон ночей и столько дней.

Мне детский лепет-перезвон
Милее всех мелодий...
Люблю я купол-небосклон
И грохот половодий.

Люблю подругу целовать,
Купаться в омуте очей,
Люблю по-детски помечтать
В тиши непуганых ночей.

Люблю зарею на лугу
Бродить по росам босиком...
И страстно плакать я могу
Над плавным пушкинским стихом.

Июль. 1962 г.

## * * *

Не рвите роз, не надо!
Не губите дивной красоты.
Пойте милым серенады,
Из слов дарите им цветы.

Из слов без лжи и пустоты,
Из слов хмельнее винограда,
Ведущих в царствие мечты...
Не рвите роз, не надо!

Июль. 1962 г.

## * * *

Вечер славный, не осенний:
Всюду тишь и благодать.
У меня в руках «Есенин»:
Его стихов пахучих рать.

Все люблю и все лелею:
Книжный слог, природы явь,
О прошедшем не жалею...
Пей, соловушка, надбавь.

Лишь об ангелах не надо,
О них тебе не подпою –
В чистом небе канонаду
МИГи устроили свою.

Июль. 1962 г.

## Айда в Миритиницы!

Однажды в экстазе лирическом,
В сумраке загрустившей ночи
Девушка с жаром магическим
Пела мне песню про Сочи.
В той песне плескалося море,
К небу взлетал кипарис,
Пахли лимонами зори...
И что-то про лавровый лист.
Есть у нас Крымы и Сочи,
В мире Швейцарии есть...
А чем хуже край наш Отчий?
Достоинств его и не счесть!
Взгляд – на Миритиницы.
Где все ниткой истории прошито,
На край озер, нашу скобскую Ниццу,
Где воздух пахуч и чист,
словно просеян через сито.
Дыши им и насыщай свой стан,
Чтобы воспрянуть силой и духом.
А хочешь – наполняй им стакан
И пей, как медовуху.

Июль. 1962 г.

## * * *

Вблизи речушки узкой
Клубком шмели – радуются лету.
А легкий ветер не по-русски
Читает под кустом газету.

Июль. 1962 г.

## * * *

Ну что за чудо эта рань?
У Солнца – улыбка нараспашку,
У Неба – розовые плечи,
А по лугам, земным лугам,
Горят божественные свечи.

Иль алмазы то блестят,
Иль звездопад какой случился,
Иль Высший разум приземлился,
Все осветив своей Лучиной?

Иль это девичьи глаза восход так озарили?
Иль драгоценные рубины
Тонким слоем залегли?
Зачем гадать? Ибо это –
Чистейший пот Земли.

Июль. 1962 г.

## * * *

Жизнь не таблица умноженья,
Она сложней во много раз,
Ее мечты, ее свершенья
Лежат морщинкой между глаз.

Есть в ней смех, увы, и слезы,
Есть радость и печаль,
Есть тишина и даже грозы,
Есть близкое и даль.

И я беру ее такую,
(Одной малины не хочу),
Беру, как кость, совсем нагую,
И, как пес, над ней рычу.

Июль. 1962 г.

## * * *

Кукольно-изящные мыслишки
Млеют, как пюре.
И задами, будто бы воришки
Ходят на мозговом дворе.

Чтобы эта мразь
Не закончила свой цикл,
Я врезаюсь в нее, как врезается в грязь,
В дым ревущий мотоцикл.

Июль. 1962 г.

## * * *

Будет-будет-будет
Любима вечно красота,
Мир поймет и мир рассудит
Сущность Солнца и Креста.

Июль. 1962 г.

## Спеши!

Проснуться рано поспеши,
Чтобы глаза росой умыть,
Мир дремотный поспеши
Понять и полюбить.

А прядь своих кудрей
Дай Солнцу расчесать
Расческой из его лучей.
Не забудь поцеловать
Зацвевшей розы лепесток,
Своей улыбкой одарить
Спеши проснувшийся Восток.

Июль. 1962 г.

## * * *

Утренний момент:
Так спокойно в воздухе,
Что неподвижен лист.
Взяла минуту отдыха
Природа. Чист
Небосклон иссиня-синий,
Мой дремлет сад.
Лучей косые линии
В пруду на дне лежат.

Глазастыми сережками
Повисли капельки росы.
Тропинки и дорожки
Еще пусты в эти часы.

Кукушка полусонная
В дремотном забытьи
Ку-ку свое трезвонное
Прервет на полпути.

А иволга беспечная
Сфальшивит вдруг в саду.
И глубь небес извечная
Купается в пруду.

Июль. 1962 г.

## * * *

Не пой романсов, не грусти
И слез своих не лей.
Был путь один, теперь пути:
Вправо мне, тебе левей.

Июль. 1962 г.

# Сидорыч

Под два метра ростом, широкоплечий, в тёмном плаще и в фуражке железнодорожника, он броско выделялся из толпы. При виде его мне вспомнились слова Аллы Пугачёвой из её песни: «Ну настоящий полковник!» У регистрационной стойки санатория «Голубые озёра» я не только поэтому обратил на него внимание. Мой взгляд привлекли его дрожащие руки, в которых он держал какие-то бумаги. Рядом с ним стояла маленькая женщина и под его диктовку заполняла анкету…

Получив санаторную книжку, талон на питание и ключи от номера, в который меня вселили, я направился на его поиски. Нашёл быстро. Разделся, разгрузил сумку, сел на кровать, чтобы отдохнуть от поездки и нервной толчеи в регистрационной. В приятной истоме просидел-пролежал минут пятнадцать, гадая, кого ко мне подселят. И вдруг дверь в номер отворилась, узенькая прихожая сразу наполнилась звуком шагов, в котором угадывалось и присутствие третьей «ноги»-дубиночки. Я приподнялся и увидел того самого «настоящего полковника» из регистрационной. Здесь, не сжатый со всех сторон, он мне показался ещё более представительным.

Знакомясь, пришедший назвался Сидорычем. Я спросил:

– А вы откуда, Сидорыч, приехали?

Поставив дубиночку в угол, медленно расстегивая плащ, Сидорыч многозначительно произнес:

– О-о!.. Я приехал издалека-а-а..

И замолчал. Продолжить разговор ему помешала пуговица на плаще, которую дрожащие пальцы никак не могли направить в петлю. Заинтригованный восклицанием «О-о!», я с нетерпением ждал ответа на свой вопрос и мучился догадками – из какой такой дали приехал Сидорыч. Справившись, наконец, с пуговицей, он распрямился и, кажется, довольный тем, что вызвал к себе интерес, спокойно, словно намеревался рассказать серьезную и длинную быль, продолжил:

– Если перейти железнодорожную линию, пройти несколько метров вправо, там как раз и будет мой дом. Отсюда, где я сейчас стою, до него метров триста, четыреста.

И, довольный, громко рассмеялся.

«Ну и фрукт», – отпустил я мысленно грубость в адрес Сидорыча. (Потом смирился с его манерой отвечать на задаваемые ему вопросы, и она показалась мне даже интересной.) Когда он снял плащ, на его пиджаке я увидел два ордена Великой Отечественной войны: один – боевой, второй – юбилейный…

Сидорыч ночевал дома. В санаторий приходил на процедуры, здесь же и питался. Перед каждым походом в столовую мы с ним подолгу беседовали. Больше говорил он, а я слушал. Сидя на кровати, он охотно рассказывал о своей жизни. Удивительно, что в 82 года Сидорыч сохранил о ней массу подробностей: вплоть до того, какие лета и зимы были до войны, как в семилетнем возрасте он пас колхозных коров, как очень морозно было в феврале 1943 года, когда семнадцатилетним пареньком стал партизаном.

Голос у него немного хриплый, говорил тихо, ровно, но в некоторых местах он взрывался петардой и употреблял классический русский мат: очень выразительный и точный. К мату прибегал в том случае, когда рассуждал о современной жизни. Его возмущало, что по телевизору в открытую показывают разврат, в телефильмах сплошные убийства и насилия, что в государстве нет порядка, а с коррупцией поручено бороться тем, кто сам же и берёт…

У Сидорыча передняя часть головы голая, как колено. Седые реденькие волосы только на затылке и за ушами. Такие же и брови. Когда его возмущение достигает наибольшего напряжения, его голова, лицо и толстый нос покрываются багряным румянцем. В этот момент твердым голосом он произносит:

– Как бы сейчас ко времени были Дзержинский и Сталин!

В таком сочетании эти фамилии впервые я услышал именно от Сидорыча, другие обычно называли только Сталина. Упомянув их, он добавил:

– Нонешние наши руководители… ну, что они? Они не могут даже конфликт по газу с Украиной уладить.

Круг его интересов поразительно широк. Он смело вторгается в проблемы государственного масштаба, рассуждает о них не как сторонний наблюдатель, а как активный участник жизненного процесса страны:

– Ай, не дело, что колхозы распустили, – в какой уже раз ставит он эту пластинку, – ай, не дело! Наш колхоз назывался «Гудок». Разводили коров, лошадей, свиней, овец. В 1947 году за день я вспахивал по 80 соток. За это мне начисляли четыре трудодня. На каждый трудодень выдавали по четыре килограмма зерна. Вот и считай, сколько я за день зарабатывал, а?

Я немного задержался с ответом, а он продолжил:

– Нечево и считать – 16 килограммов! Целый пуд! А нонешние свистуны-поносники долдонят, что в колхозах за работу ставили палочки, на которые ничего не давали. Может, такие колхозы где-то и были, вредителей было много… Но в нашем «Гудке» я вот этими руками за день зарабатывал и получал пуд хлеба! Видал?!

И Сидорыч протянул ко мне крупные трясущиеся руки. Смутившись, убрал их и уставился на окно, за которым через строй сосен и берез просматривалось озеро Малый Иван. Полюбовавшись этим видом, повернулся ко мне:

– Мне за пахоту дали «Почётную грамоту», как лучшему пахарю колхоза «Гудок»… А сейчас нас ножками Буша кормят.

Я почувствовал, что мои брови, как раки, полезли на лоб, я уставился на своего собеседника, как ошарашенный. Сидорычу, похоже, такое моё внимание не понравилось, и он спросил:

– Ты чево так вылупился на меня?

– Да так, извини.

Но «так» все же было не так. Меня поразило не столько желание Сидорыча накормить нас ножками Буша, сколько его переход от «Почётной грамоты» к этим ножкам. Ну и голова! Недаром сорок лет проработал железнодорожником: с одной темы перешёл на другую, будто на линии стрелку перевел: раз – и готово!

Сделав движение левой рукой (его любимое), во время которого он проводил ладонью по губам, подбородку и шее, Сидорыч дополнил:

– Пусть хлещут водку и ножками Буша закусывают.

Боясь, что он переключится на что-то другое, я поинтересовался:

– А сейчас там пашут– сеют, где ты (мы с ним как-то быстро перешли на «ты») в сорок седьмом пахал?

– Пашут, – произнес Сидорыч на длинном выдохе, словно покидал этот мир. И тут же взорвался:

– Там грибы теперь собирают! Нема там пахоты, все заросло.

Он нагнулся и стал гладить левую ногу, которую отморозил в партизанах в феврале сорок третьего, лёжа в снегу, и на которую теперь хромает. Успокоившись, как о счастливых днях своей жизни, вспоминает:

– Конь у меня был хороший, по кличке Костромец. Почему ево так окрестили – не знаю, и врать не буду. Хорошо тянул. Ну и плуг я умел так настроить, что коню и мне было легко. Веснами, в День первой борозды, проводили смотры готовности. Пахари на площади выстраивались со своими лошадями и плугами, начальство из района проверяло, как мы подготовились к пахоте. Было торжественно. Вся деревня высыпала глазеть на этот смотр… А теперь вся пашня лесом заросла. А ты спрашиваешь, пашут там сейчас.

Ту мне вспомнилась частушка из подростковых лет, и я пропел ее:

*Мы не сеем и не пашем,*
*А валяем дурака,*
*С колокольни шапкой машем –*
*Разгоняем облака.*

Загрустивший и поникший, Сидорыч вдруг бурно рассмеялся и начал меня хвалить:

– Ай, молодца! Как же ты хорошо спел, ай, молодца! Ну тютелька в тютельку попал.

В какое-то сидение перед обедом Сидорыч оседлал партизанскую тему. Хотя он партизанил всего шесть месяцев, в закромах его памяти разных событий отложилось столько, что их хватило бы на целую книгу. И что ни факт, что ни случай – все из разряда хождения по лезвию ножа, почти в обнимку со смертью. Однако он все преподносил с повышенным жаром, жестикулировал. Даже рассказ о том, как однажды немцы высыпали на партизан кучу бомб, не выглядел в его передаче трагичным:

– Мы немчуру перехитрили, врать не буду: разожгли костры, а сами ушли в другое место. А не ушли бы, всем каюк был бы. Немцы бомб высыпали, как гороху. Врать не буду…

По ходу рассказа я спросил:

– В партизанах сносно кормили?

– Сносно, – не задержался с ответом Сидорыч.

– Ну хоть кормили сносно, – необдуманно ляпнул я.

А он, оказывается, еще не все сказал. Провел ладонью по губам, подбородку, шее, недобро посмотрел на меня, добавил:

– Случалось и такое, когда во рту у нас, кроме снега, ничего не бывало. Клацали зубами, как волки.

Несколько дней Сидорыч сетовал на то, что в его дом перестала поступать вода. Труба, мол, соржавела.

– Обещали завтрева починить, – как-то сообщил он.

Дня через два я поинтересовался:

– Дали воду?

– Дали, – как-то нехотя ответил он, – врать не буду.

Не обратив внимания на интонацию, с которой было произнесено слово «дали», я успокоился. И вдруг услышал:

– Открыл давеча кран, вода пошла. Врать не буду. Только успел руки сполоснуть, в один момент закончилась…

Я тихо засмеялся:

– Сидорыч, извини за смех, но у тебя получилось, как в анекдоте про Чапаева.

Он тотчас навострил свои уши:

– А как в анекдоте? Ну-к расскажи.

– Слушай. Получил Василий Иванович квартиру с удобствами. Пригласил Петьку, чтобы похвастаться. Водит его, показывает, разъясняет что к чему. Подвёл к унитазу и говорит: «А это, Петь, умывальник. Только, кажется, с браком: дернешь за верёвочку, вода тут же побежит. Но вот беда: успеваешь только руки помыть, а на лицо и не хватает».

– Ха-ха-ха!...

За время наших посиделок Сидорыч так смачно и заразительно ни разу больше не смеялся. Он то и дело вытирал ладонью слезящиеся глаза, а по его мощной содрогающейся фигуре было видно, что этот смех доставляет ему немало удовольствия. И вдруг, как изгиб молнии: смех резко заглох, лицо старика в одно мгновение стало серьезным, и он огорошил меня вопросом:

– А ты поверишь, что при той власти однажды я из Великих Лук до Опухликов один ехал в автобусе «Икарус»?.. Не пожалели такой громады, горючего ради одного человека. М-да… Раньше между этими пунктами ежедневно три рейсовых автобуса ходило. Три, врать не буду. А таперича ни одного. Это тоже анекдот. Правда, от него не

смеяться, а плакать хочется.

Сидорыч наклонил голову, прищурил один глаз, прицелился на циферблат своих часов, поднялся:

– Ну, хватит. Пошли на обед, а то в следующий раз не о чем будет рассказывать.

«Следующий раз» наступил в этот же день перед ужином. Уже вскоре после нашего знакомства я понял, что Сидорыч рад встрече с человеком, с которым он раньше не общался. Для него я был, на языке торговцев, новым рынком сбыта своего «товара», которого у него за долгую жизнь накопилось много. И он охотно изливал свою душу. Может, таким образом он освобождал большие склады своей памяти от разных проблем и переживаний, мучающих его изболевшееся сердце. А если и не освобождал, то был рад хотя бы тому, что его выслушали.

Из его рассказов выходило, что Сидорыч был заядлым рыбаком. Озера Малый Иван, Большой Иван, Балаздынь он знает, как свои пять пальцев. Не без гордости он говорил:

– Я, еще когда во второй класс ходил, а это было до войны, всю семью рыбой обеспечивал. Таперича, правда, не рыбачу, врать не буду. Здоровье не позволяет. А снасти все есть. И лодка есть, сам делал. Да … есть.

Приоткрыв рот, видимо, ему так легче было дышать, он задумался, уставясь в пол. Но вот приподнял голову, заговорил:

– Какая-то в нашей Расее хреновина получается: около озера Балаздынь дач понастроили – ну сам город! А раньше там пахали. И я пахал. Года два назад пошёл я к этому озеру с удочками – порыбачить хотел. И что ты думаешь? Охрана не пустила. Какой-то сопляк мне и говорит: «Не положено. Это частная территория, частная собственность». Суки поносные… (на месте этого многоточия выразительного и точного мата было много), какая это частная территория, если я по ней босиком ходил, когда ходить только научился. Туточка предки мои жили, я жил и живу. А оне – частная территория. Понимаешь, немецкие фашисты-оккупанты такого себе не позволяли. Понаехали разные олигархи. Разворовали и распродали нашу матушку Расеюшку. Как же нам сейчас не хватает Дзержинского и Сталина…

Удивило трогательно-нежное отношение Сидорыча к траве полынь, которую он называл только полынькой и почему-то награждал ее сверхъестественной лечебной силой:

– Полынька – это чудо-травка! Горькая, но полезности человеку приносит много. Мы со старухой каждое утро по сто граммов полыньки принимаем. Примем, и шлепаем целый день. Хотя годков нам уже ойёё! И огородом занимаемся, всякую всячину сажаем и сеем… У меня вон дров на три зимы заготовлено, врать не буду.

С полыньки и дров мой удивительный рассказчик шустро переключился на современную погоду. Вообще-то ей он часто перемывал косточки, а сейчас свой гнев направил на зиму:

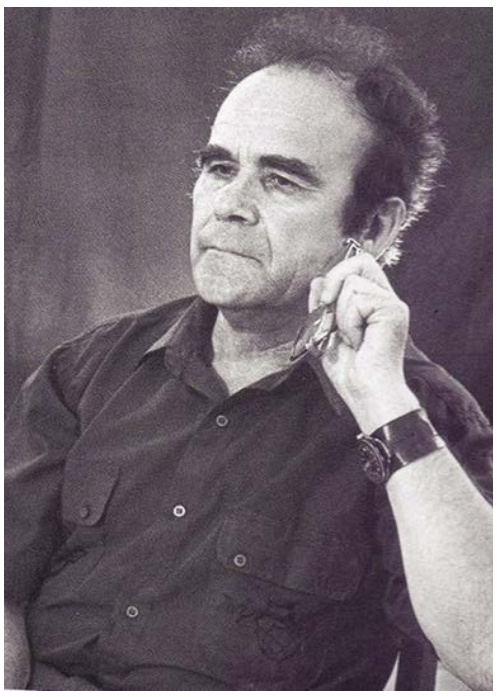
– Ну, что это за зима, разве это зима? Слякоть – не приведи господи! Где это видано, чтобы в январе у нас дождь шёл? Раньше зимой в избах углы трещали. А таперича не зимы, а что-то вроде оно: ни то ни се.

Что подразумевал он под словом «оно», я не понял, но расспрашивать не стал, да и момента не было: Сидорыч заговорил о лете, о грозах:

– А какие грозы раньше были! – Сидорыч закрыл глаза, и из его гортани вылетело с десяток букв «и». – Молнии, дуто им под хвост соли насыпали или горчицей там помазали, метались по небу в лихом сумасшествии, извиваясь, как рассерженные змеи. И гром, и гром… Аж ушам было больно… В годе так в сорок восьмом гроза на пахоте меня застала. Дождь не шел, он лавиной с неба рухнул. Рядом две сосны росли. Под одну из них я и стал. А молнии все извивались, поди, цель выискивали. И вдруг как бабахнет… и вторую сосну от макушки до земли на щепочки разнесло. Мой конь Костромец недалече был, он как не стоял: с четырех ног так и рухнул. От испуга. Но остался живой.

Приходя в номер, Сидорыч ставил в угол дубиночку, раздевался, садился на свою кровать, какое-то время массировал больную ногу и только после этого начинал меня чем-нибудь удивлять. А тут не успел он пройти прихожую, как я услышал:

– Вот ты намедни рассказал анекдот, как Чапаев квартиру с удобствами получил, а таперича послушай мой анекдот. Моя дочка в городе перед самым закатом той власти от завода бесплатно трёхкомнатную квартиру получила. Племяннику тоже



давали. А он, дуралей, возьми и откажись – район ему не понравился. Барин лапотный. Дескать, завод в другом месте дом строит, в том и возьму.

– Взял?

– Взял.

– Везет же твоей родне: бесплатные квартиры, да ещё по выбору.

– Везло. Советская власть кончилась, и бесплатные квартиры – как корова языком слизала. Вот и ютится племяш с семьей в махонькой комнатушке в общежитии. При этой власти ему бесплатной квартиры не видать, как собственного затылка… Если что в зеркале.

И Сидорыч в досаде почесал свой затылок.

Пригорюнившись, мы окунулись в свои думы. О чем думал Сидорыч, не знаю. Я же мысленно складывал кусочки его рассказов и прогонял их, как киноленту. Получалась долгая жизнь, наполненная всем, что в ней есть, набором таких чувств и переживаний, что для всех нужное слово не сразу подберешь.

Сидорыч полгода партизанил. После соединения партизан с регулярной армией добавился еще год войны. А в сорок девятом его снова призвали в армию. На целых четыре года. Я никак не мог понять смысл этого призыва, считая, что он стране больше бы пользы принес, работая в колхозе пахарем. Ломая над этим голову, я настолько отключился, что не расслышал, о чем он заговорил после паузы:

– Извини, Сидорыч, ты о чем?

– Да все о том же – о бесплатных квартирах. Человек, скажу я тебе, странное существо. Ему делают хорошо, взять хотя бы мово племяша, нет – давай ему лучше. Взял бы квартиру, каку давали, – и жил бы человек человеком. Ан нет: раскатал губу…

Слушая, я смотрел на выцветшие глаза Сидорыча, на его два ордена, на правую руку, которая никак не могла успокоиться, на дубиночку, прижавшуюся преданно к его больной ноге, отмороженной в сорок третьем, и слушал, слушал…

– Може, и я такой…

– Какой? – перебил я его.

– А тоже не по делу раскатываю губу. Пенсия у меня хорошая, врать не буду. А году так в 2002-м задумал я на очередь стать на получение машины как инвалид войны второй группы. С разными документами пошел на ВТЭК. А там мне сказали: «Мы бы поставили вас на очередь, если бы у вас не было ноги или руки, или одна нога была бы короче другой сантиметров на десять, а так… Нам велено попридерживать». Я хотел тому чиновнику сказать: «Для вас было бы лучше, если бы у меня головы не было. Тогда я бы к вам не пришел и меня не надо было бы «попридерживать». Меня такая обида захлестнула, что я не мог ни слова сказать. Заплакал и ушел. Хошь верь, хошь не верь, но я в своей жизни два раза плакал: на ВТЭК и в феврале сорок третьего, когда страшно замерз и ногу отморозил… Чево ты хочешь?.. Пацанёнок был.

Я был уверен, что после этого рассказа Сидорыч обязательно вспомнит о Дзержинском и Сталине и пожалеет, что их нет. Вероятно, этот случай в его жизни был самым тяжелым, ему не хотелось впутывать в него даже виртуально людей, которых он боготворил.

В тот день мы расстались. Прощаясь, Сидорыч сказал:

– Обязательно приезжай в следующем году. Врать не буду, ты хороший собеседник. Теперь и поговорить будет не с кем…

**В.И. ВИНК**

# Годы Великой Отечественной войны: из рассказов нашего земляка

## ПЕРВЫЙ РАССТРЕЛ

Великая Отечественная война, немецкая оккупация…

Было это в 1942-м, а может, в 1943 году. Очень заболела младшая сестричка Женя. Мать понесла ее в Насву, что в четырех километрах от нашей деревни Семёновка. Там был немецкий медицинский пункт, в котором принимали население близлежащих деревень.

Возвращение матери затянулось, и я очень переживал по этому поводу: в деревне действовал комендантский час, объявленный немцами, после которого населению не разрешалось появляться на улице. А матери все не было и не было.

Мое тревожное состояние усиливало мычание нашей коровы Лимонки. Оно было такое настойчивое, такое жалобное, что у меня плакали не только глаза, но и душа. Лимонке было пофигу, что шла война, что в деревне были немцы и действовал комендантский час и из Насвы еще не вернулась ее хозяйка – ей давно надо было доиться.

Проникнувшись жалостью к своей кормилице и поборов страх, я огородом прокрался к бабушке Ольге, которая жила рядом, и попросил тетю Нюру, ее дочь, подоить Лимонку. Она согласилась, и мы огородом пошли. Но когда мы подошли к нашему хлеву, откуда-то появился немец с винтовкой и начал по-своему что-то кричать на нас. А потом еще хуже: начал стрелять, но не по нам, а рядом с нами: выстрелит слева, мы с тетей – вправо вдоль стены… И так много раз. Выстрелит и кричит: «Цюрик!»… Тетя Нюра на язык была девка острая и бесстрашная, она ему в ответ: «Сам ты цирик, дурак безмозглый!...»

Страху мы натерпелись в тот вечер с тетей… Но живы остались: фашист таким образом с нами играл, будь он проклят. Мать утром говорила, что я ночью несколько раз кричал во сне.

Удивительно, что ни одна пуля не задела ни Лимонку, никого другого.

## «БРАТАНИЕ» С ПУЛЯМИ

Пуля – дура. Так говорят, так утверждают. Если утверждают, вероятно, так и есть. Будь обратное, она не выполняла бы своего главного предназначения: убивать. Возможно, поэтому ее и окрестили дурой.

Во время Великой Отечественной войны я много раз попадал в такую ситуацию, когда мог быть убитым на 100 процентов. Особенно запомнился случай в деревне Жуково. На исходе был февраль. Отсюда до моей деревни Семёновка, откуда мы были выселены, километра два. Она представляла большой интерес для нашей авиации, поскольку в крутых берегах семеновской кручи было много хорошо укрепленных немецких бункеров – просторных, уютных, не похожих на простые землянки. Возможно, в них жили большие немецкие чины.

Поэтому я каждый день из Жукова наблюдал за Семёновкой, за работой нашей авиации. Прилетев, наши самолеты сначала обрабатывали кручу с бункерами, потом делали несколько кругов над деревней и после этого тянулись к Жукову.

В один из таких налетов советской авиации я увлекся ходом боевых действий (для пацана все это очень интересно) и очнулся, когда наши самолеты уже начали обрабатывать территорию деревни Жуково. Тогда я рванул в избу, крикнул бабушке Мане, чтобы она с малыми детьми лезла под пол, а сам побежал к погребу, что был в огороде.

Что мной руководило в тот момент? Через много лет я не могу

понять. Думаю, что тогда – тем более. Спасение в погребе? Но какое могло быть спасение, когда я бежал сквозь рой пулеметных пуль, изрыгаемых самолетами и с змеиным шипением входящих в снежные сугробы. И надо же: проскочил! Мои милые, ласковые, любимые пули! Спасибо, что так обошлись со мной, что посторонились и пропустили меня в погреб. Низкий поклон вам за это с высоты многих десятилетий…

Прошло с полмесяца, как снова произошло «братание» с пулями и снова с советскими, опять в Жукове, около этого же дома. Была середина марта, полдень, солнце грело хорошо, появилась маленькая лужа на дороге. Близко около нее нашел я немецкий носовой платок. Подобрал и стал в луже его стирать. Еще перед стиркой обратил внимание, что за речкой, в Горожанщине, нарушил тишину немецкий разведывательный самолет «рама», что-то высматривал. И вдруг слышу сзади меня стремительно приближающийся звук. И тут: та-та-та… И меня всего облепило мокрой снежно-ледяной кашицей. Это дал очередь по мне один из советских истребителей, устремившихся к немецкой «раме». И вскоре она пронзительно завыла и рухнула за речкой. Мое второе «братание» с пулями и на этот раз обошлось благополучно. Но лети советские истребители по курсу сантиметров на пять левее, пули такого благородства ко мне не проявили бы.

Мое «братание» с пулями шло по убывающей. Мы жили уже в деревушке Клетки, в четыре избушки. Немцы отступали. Дед решил согнать самогонку, сказал, что надо будет угостить первых красноармейцев. Пришло время заняться этим процессом. Я, конечно, рядом – интересно же! И вдруг он говорит мне:

– Сходи, бидончик принеси и краюху хлеба, скоро пойдеть.

Я только выскочил из бани, как в деревне Свелебино (она была рядом, на взгорке) прозвучал выстрел и мимо меня просвистела пуля. Дед высунулся из бани, крикнул:

- Вов, назад ползи по-пластунски!

Взяв в избе нужное, я так и сделал. Но сидеть в бане не стал, вне ее было интереснее. Мне очень захотелось поиграть с немцем, который, как потом выяснилось, был снайпером, прикрывающим отступающих немцев. Я понимал, что играть в прятки с немецким снайпером – занятие очень опасное, но понимал только по-детски. И высунул голову из-за угла сарая: пуля просвистела мимо у самого уха. Игра с немецким снайпером закончилась на второй моей попытке высунуться из-за угла: пуля расщепила этот угол и острая щепка полоснула по правой стороне моего лба, оставив на нем вечную метку.

Больше играть в прятки со снайпером я не стал. Но продолжал наблюдать за его действиями. Он занимал очень выгодную позицию: прикрывал отступление своих войск по дороге на Каськовскую гору и препятствовал наступлению наших частей на деревню Свелебино – лобовые атаки наших захлебывались. Это длилось до тех пор, пока наши не открыли по немецкому снайперу стрельбу из пушки. Рядом с Клетками была только что сожженная немцами деревня, ее пепелища еще дымились. На одном из таких пепелищ, около сохранившейся русской печки, наши установили орудие и пальнули по Свелебину – по тому месту, где сидел немецкий снайпер. Как подкошенная, упала высокая береза. От второго залпа замолк снайпер. Может, этим выстрелом он был убит, а может, сбежал с другими отступающими фашистами.

А все остальное происходило на моих глазах. И как только немецкий снайпер замолчал, наши поднялись и с криками: «За Родину! За Сталина!» – пошли в атаку. Заняли Свелебино и двинулись дальше, наступая отступающим фрицам на пятки, кажется, до самой Кудеверьщины.

Описанное выше – это лишь один маленький эпизод из Великой Отечественной войны, коих – страшных и трагических – было не счесть.

Не все было тихо и спокойно несколькими днями раньше и в Клетках. Сначала немцы с полицаями нагрянули к нам днем. Забрали всю живность: коров, лошадей, свиней, овец, курей, даже только что народившихся ягнят, которые еще твердо на ногах не могли стоять. Помню таких, которые были помещены в большие сенные корзины: беленькие, черненькие, пестрые. Острее всего мне запомнились эти ягнятки: в каракулевых шубках, с милыми мордашками, невинно взирающими на жесткий мир и двуногих существ, грубо побросавших их в эти корзины. Глупенькие, они ничего не понимали, и тем горше были слезы тех, у кого их отбирали.

Через сутки или двое немцы с полицаями появились в Клетках поздним вечером и устроили облаву на молодежь с целью отправки ее в Германию. В нашей избе из молодежи была одна тетя Валя. К этой категории можно было отнести и дядю Васю, мужа тети Нины, который по возрасту еще не был призван на службу в армию. Они спрятались под полом.

В избу вошел немецкий офицер в сопровождении полицая, речь которого выдавала в нем хохла, ибо в ней было много украинских слов. Они увидели такую картину: на первом плане тетя Нина с грудничком Сашей на руках, рядом с ней моя мама Елена с маленькой Женей, которой вряд ли был годик, и тут же сестричка Зина лет четырех, и я – постарше. Дедушка и бабушка были на заднем плане.

Такое расположение живущих в этой избе напоминает картину, когда гостей встречают хлебом-солью. В качестве «хлеба-соли» матери выставили своих детей. Но не для того, чтобы подарить их оккупантам и предателям, а чтобы показать им, что хотя они и молоды, но их кровинушки настолько малы, что разлучать их с ними нельзя…

Но полицай думал и сделал по-другому. Когда немецкий офицер, молча обозрев нас, вышел в сени, полицай вырвал у матери крохотную Женю, как полено бросил ее в угол на лавку и потянул кричащую и отбивающуюся мать на улицу. Бросок Жени в угол, какой-то звук, изданный ею, и наступившее молчание мне зримо и слышно до сих пор. Убежден, что в животном мире такого быть не может. В нормальном человеческом – тоже. Вероятно, это присуще только предательскому миру.

Маленькая избушка наполнилась сгустком звуков, которые навряд ли возможно повторить. Напряжение несколько спало, когда бабушка Маня взяла беззвучную Женю на руки и, раскачивая, вернула ее к жизни: она стала громко плакать. Этот плач был воспринят с радостью. Но не было мамы, и выйти на улицу никто не мог – дверь была заперта. Мы продолжали страдать и изливали свое горе в крике и плаче. И вдруг дверь отворилась и на пороге показалась наша мама, постаревшая за короткое время на много лет. Она рассказала, что отпустил ее немецкий офицер, который заходил в нашу избу…

Высший Разум! Я благодарю тебя за то, что произошло именно так, что к нам вернулась наша мама и мы, трое ее детей, не остались сиротами.

**В.И. ВИНК**